

## ИЗ ГЛАВЫ

# ТРУДАРМИЯ

• • •

Когда-нибудь закончится война. Преступления сталинского режима начнут порастать быльем-лебедой, люди по старой русской поговорке «кто старое помянет...» забудут все плохое, а еще потому забудут, что страшное помнить никому не охота. Аугуст тоже захочет все позабыть, но не сможет никогда. Например, не сможет забыть он, как на его народ свалилась трудармия: красивое слово, за которым скрывались все те же лагеря ГУЛАГа: рудники, шахты и лесоповалы, забравшие сотни тысяч жизней российского, немецкого народа. Трудармия стала отдельным миром, отдельной жизнью, отдельной эпохой.

Как забыть, например, такой эпизод из эпохи лесоповального рабства Аугуста: в марте 1943 года их, трудармейцев, по тревоге выстроили однажды посреди ночи на плацу. Долго стояли зеки на ночном ветру, по нарастающей ожидая самого худшего. Затем пополз слух: сейчас будут зачитывать личную телеграмму от Иосифа Виссарионовича Сталина. «Какую еще телеграмму?, – тревожно переглядывались зеки, – всех в расход, что ли?». Но дело оказалось в другом: целый год руководство лагеря не платило трудармейцам формально положенных им денег, отказываясь от них в пользу оборонной промышленности, с тем, чтобы отпартовать в Москву, Сталину о собранных лагерем средствах для фронта. Это было очень важно для начальства лагерей: лагеря соревновались между собой, кто больше соберет денег. Отчеты о собранных суммах начальники лагерей регулярно телеграфировали молниями в Москву, Берии. Зеков все это интересовало мало: они боролись за каждый конкретный день жизни, их волновали пайки, портянки и делянки. Ценность для них представляли не деньги, но размеры паяк и каждая минута спасительного сна, восстанавливающего силы. И вот поступил ответ из Москвы, и на плацу построили, украв драгоценный сон, едва живых от изнурения трудармейцев. «Может, на фронт пошлют?», – с надеждой спрашивали некоторые в шеренге. «Как же, жди. Всех – в ров», – говорили другие, поопытней.

Между тем начальник лагеря взобрался на помост, освещенный прожекторами с двух сторон, и завизжал простуженным фальцетом:

– Граждане трудармейцы! Для нас всех произошло великое событие для нашего лагеря исторического значения. Этот миг вы все запомните надолго, до конца ваших жизней... «Все! Конец жизней! В ров!», – простонал сосед Аугуста...

– К нам всем и к вам в том числе, граждане трудармейцы, с личной телеграммой обращается товарищ Сталин! – продолжал начальник и на слове «Сталин» голос его от избытка чувств дал «петуха», – Наш великий вождь – Иосиф Виссарионович Сталин! – уточнил он, – Внимание! Я зачитываю:

*«Прошу передать рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим немецкой национальности, собравшим 353783 рубля на строительство танков и 1 миллион 820 тыс. рублей на строительство эскадрильи самолетов мой братский привет! Иосиф Сталин».*

Повисла мертвая тишина. И в этой тишине Аугуст, не совладав с разорвавшейся внутри него бомбой, истошно закричал по-русски:

– Засунь себе в жопу твой братский привет, изверг, – (он уже очень прилично говорил по-русски к тому времени).

После этого крика Аугуста сковало параличем: все, теперь конец...

Но никто не отреагировал, никто даже головы не повернул в его сторону. Все замерли.

– Ура!, – скомандовал начальник лагеря в ответ на вопль Аугуста.

– Ура, – согласились ошарашенные зеки несколько вразнобой.

– Ура! – грозно завопил начальник.

– Ура! Ура! Ура! – теперь уже дружно взревели колонны.

Только теперь сообразил Аугуст, что смерть прошла мимо: он кричал сердцем, а не вслух. То был всего лишь внутренний крик его души! Он спасен! От радости, что все обошлось, Аугуст заплакал в своей шеренге, растирая слезы кулаками и содрогаясь всем телом. Глядя на него, заплакали рядом с ним и другие зеки. Начальство и охрана восприняли этот плач почти с умилением: как выражение глубочайшей признательности немцев-трудармейцев за слова, которыми удостоил их Великий Отец всех народов: лучший друг всех лесорубов, рудокопов, шпалоукладчиков и всех-всех-всех остальных врагов народа без исключения.

• • •

Последний год в трудармии, сорок пятый, был самым трудным. Не только из-за накопившейся смертельной усталости, отоспаться от которой можно будет, казалось, лишь на том свете, но еще и от растущей муки душевной. Война уже ушла с территории страны, остатки фашистов гнали уже по всей Европе, а в лагерях ничего не менялось, просвета не было. Тонкий лучик надежды, вместо того, чтобы разгораться ввиду неизбежной и скорой, окончательной победы над общим врагом, наоборот – начинал замирать. И еще особенно обидно было загнуться после всех страшных лет, у самого порога Победы. Все эти годы везенье жило рядом с Аугустом и спасало его, но где гарантия, что однажды оно не покинет? Ведь все продолжалось по-старому: гигантские нормы выработки, скудные пайки, недосып, недоед, охрана, собаки, шмоны, прожектора, карцер.

На стороне Аугуста был теперь опыт, это правда. Он помогал выжить наряду с везеньем, но везенье все равно оставалось важной составляющей лагерной жизни. Опыт был основой выживания, везенье же – его капризом, способным одним своим дуновеньем свести любой опыт на нет. Но с везеньем Аугусту повезло тоже. Сплошным и продолжительным везеньем считал он свою принадлежность к бригаде Буглаева.

Буглаев был настоящим командиром. Командиром штрафников, который вместе со своим батальоном идет в бой, четко понимая, что каждый в этом бою зависит от каждого. Однажды, много позже, в мирные времена, под праздничную рюмку Аугуст, размягченный сердцем, именно так и высказался, но тут же и разозлился сам на себя за помпезность произнесенной фразы, за ее штампованную искусственность. Да, конечно, так оно и было с Буглаевым, но только без всей этой победоносной стали с развевающимися над нею флагами. В реальной жизни все было гораздо проще, грубей. И Буглаев тоже был достаточно прост в обращении, и груб, и циничен. Более того, он часто бывал жесток, но, в отличие от многих бригадиров вкалывал сам, как раб, успевая при этом дирижировать своим отрядом, все замечая, постоянно перераспределяя нагрузки, давая слабым набрать сил, не потерять последние. У себя в бригаде он создал нечто вроде продовольственного резерва и делал все возможное для его пополнения. Принципы использования этого резерва могли показаться дикими даже опытному зеку, ибо дополнительную пайку из него получали не ударники, а наоборот – самые слабые трудармейцы. Разумеется, только при условии самоотверженного труда с их стороны, с полной отдачей, без халтуры, на это у Буглаева глаз был очень острый. Таким образом, бригадир регулировал силы своей бригады. В результате бригада ему доверяла абсолютно и подчинялась беспрекословно. Криков, ожесточенных споров или разборок с рукоприкладством в бригаде у Буглаева не бывало никогда. Поскольку его бригада всегда давала план, то самому бригадиру многое прощалось со стороны начальства. И подбитый глаз инюго не поладившего с Буглаевым учетчика, и «ошибочное» смещение делянки метров на сто в сторону более «наваристого» леса и даже, однажды, взлом шкафа на кухне и воровство маргарина для заболевшего Петера Зальцера, который стал кашлять кровью.

С Буглаевым было связано у Аугуста одно очень личное воспоминание, не пригодное для широкого оповещения, воспоминание тайное, которое лучше всего, вспомнив, тут же и забыть.

Был момент, когда на зоне вызрела критическая ситуация, связанная с блатными. Дело в том, что блатные на лесоповале не работали, не желали работать, так как это было против их «закона». Они «гоняли балду» на внутренних работах. Горецкий с этим согласился, скрепя сердце. Не потому, что сочувствовал блатному «закону», а потому, что отлично понимал: ждуть от урок плана по валке леса – это все равно, что требовать от козла надоев. Рвануть же из леса на волю уголовники могли в любую секунду. Поэтому куда верней было держать их за «колючкой».

Общий план лесозаготовок спускался лагерю, между тем, от списочного числа душ – так же как и в ерофеевском, как и везде на лесоповальных зонах. И вот «ножницы» рабочих рук начали сходиться. С одной стороны, критической черты достигло число «доходяг», не способных работать на лесоповале, которых надо было устраивать внутри лагеря. С другой стороны, почти прекратилась подпитка лагеря свежими рабами. Новых «врагов народа» из числа «фашистских пособников» с освобожденных Красной армией территорий на все лагеря пока не хватало. Между тем план лесоповала был все тот же, и даже в кругах местного партийного руководства возникали постоянные инициативы по его увеличению. Так, в последний раз было предложено сделать трудовой подарок ко дню рождения товарища Сталина. Куда было деваться бедному Горецкому? Не откажешь же товарищу Сталину в подарке? Что ж, подарок выдали – ценой двух десятков новых доходяг, требующих в результате трудоустройства внутри лагеря. И тут урки сделали роковую для себя подачу. Они зарезали двух «конкурентов» из числа доходяг, приставленных на хозяйственные работы из числа «лесных дистрофиков».

Горецкий рассвирепел люто и решил показать уголовникам «кто в доме хозяин». Трех урок сунули в карцер на тридцать суток, одного расстреляли, а остальным объявили «мобилизацию»: в лес, сучары, кедры валить лобзиком!

Но только как заставить блатных работать? Это все равно, что уговорить рака летать. Махать клешнями он, может, и будет для виду, но толку-то... Прецеденты уже были. Так, в соседнем лагере, где ситуация была похожая, уже выводили блатных в лес под автоматными стволами. Те с хохотом спилили два дерева для отвода глаз, дождались обеда и разбежались потом в разные стороны. Пристрелили при побеге и поймали лишь жалкую горстку. Нет, блатных в лес выпускать нельзя – это знал каждый начальник лагеря.

Но Аграрий Леонтьевич Горецкий для того и был умным, чтобы придумать выход. Он рассказал блатных по разным бригадам, а на бригадиров возложил ответственность за побег. Это была чудовищная головная боль для бригадиров, но деваться было некуда и приходилось с блатными возиться, тратя на них время и нервы. Одно было хорошо – в лес посылали уголовников с малыми оставшимися сроками, которым выгодней было дожидаться «звонка», чем бежать. Одного блатного подключали к звену лесорубов-трудоармейцев из ребят покрепче, и те должны были уголовника воспитывать и следить за ним, чтоб не улепетнул, а в случае чего – немедленно звать охрану.

В лесу – ладно, куда ни шло, но в жилых бараках нормальные люди терпеть рядом с собой блатных отказались категорически, поэтому стало так: блатные спали у себя, в «блатном» бараке, а утром, на плацу, мрачно сползались и становились в строй соответствующей, прописанной им бригады. Обычно на бригаду в тридцать – сорок человек приходилось по пять-шесть блатных. Ясно, что внутри звеньев отношения с блатными складывались трудно, происходили сплошные скандалы с мордобитиями, однако тут, в лесу блатные были в меньшинстве, тут была не их «акватория», и они кое-как подчинялись. Но толку от этого нововведения Горецкого все равно было с гулькин хрен, блатные не работали – только вид делали. В результате их норму все равно приходилось вытаскивать всей бригаде. На этой почве участились внутри бригад конфликты с поножовщиной, и блатное шипение с угрозами ночью разобравшись наполняло лес новыми, непривычными звуками. И это были не пустые угрозы: стали гибнуть звеньевые, и даже одного неплохого бригадира закололи ночью гвоздем в шею. Передвигаться по зоне в одиночку трудоармейцам, в том числе рядовым, стало небезопасно. В лесу блатные, увиливая от работы, пытались запугивать своих «воспитателей», и не у каждого хватало смелости и злости противостоять этим угрозам. Во многих звеньях поэтому урки в лесу «балду гоняли»: курили, балаганили, надсмехались над трудоармейцами. При этом не работали, разумеется, а сидели в сторонке, на пеньке или топор швыряли в ствол от нечего делать. Иной раз уголовные откупались от труда жратвой, такое тоже бывало, но редко, в основном действовали угрозами.

Такова была обстановка, в которой работал тогда Аугуст. Его звено состояло из трех человек: звеньевое Наггера Александра, Курта Шульца и его, Аугуста. Наггер, кстати, как раз и был тот самый экзотический немец, Герой Советского Союза, летчик, у которого отобрали звезду «Героя» и загнали на лесоповал. Экзотическим Наггер был одновременно по многим параметрам – не только потому, что стал наверняка первым немцем, получившим «Героя» и уже через месяц после вручения награды лишившимся её. Главной экзотикой Александра было другое – его фамилия. По-немецки она писалась „Nachher“. При точном переводе это слово означает «потом, после», а в русской интерпретации должна была бы звучать типа «Потомкин» или «Позжеев».

Однако, когда он, немец Поволжья, в тридцать пятом году получал паспорт, какой-то канцелярский болван перевел его фамилию побуквенно и позвучно, и вместо того, чтобы написать, например, Наггер или Наэр, внес в паспорт слудующее: «Александр Нахер». Это написание перекечовало затем и в анкеты при поступлении в летное училище, и стало сущим проклятием Александра во время учебы. «Ваше полное имя?» – «Александр Нахер». – «Этто что еще такое? А без мата нельзя?» – «Это моя фамилия, товарищ командир, Нахер». – «Да? А моя – подполковник Попов, нахер. Примите три наряда вне очереди за наглость, курсант Александр!». Это была мука мученическая. Но у фамилии Нахер оказалась в условиях России и положительная сторона, за эту фамилию Сашку все в эскадрильи обожали. За постоянный сопутствующий ей юмор. «Взлетаем, Нахер?» – «Взлетаем, нахер!» И еще один плюс проявился в связи с этой фамилией, когда началась война, потому что благодаря ей никто не заподозрил, что Александр – немец. Вырос он в смешанном, русско-немецком селе, говорил по-русски без акцента, так что его часто спрашивали не боярского ли он рода корнями своими. «А не боярских ли ты кровей, Нахер? Уж больно фамилия у тебя державная». – «Да нет, ребята, скорей моих предков глупые люди дурацкими вопросами слишком часто бомбили, от ответа на них и пошла наша фамилия».

Фамилия Александра и в лагере производила юмор на каждом шагу. Например, дежурный, утром: «Подъем!»... Бригада, я сказал подъем, нахер!...». Александр поднимается, кряхтя, все остальные продолжают лежать. Дежурный злится: «Я сказал, общий подъем, нахер!». – Голос с нар: «Ну так сразу бы и объявлял, придурок, а то мы думали, что одному Сашке подъем, гы-гы-гы...». Или еще случай, с офицером из новеньких. Заходит в барак и спрашивает: «Кто от вашего барака по пищеблоку дежурит?». Голос в ответ: «Да вон он уже пошел, Нахер».

– Кто пошел нахер? Я пошел нахер? Не нахер, блядь, а веник в зубы – и бегом! Мухой, блядь! А то я вам такой «нахер» шас устрою, блядь, мать вашу переёх, срань рваная...

– Рвань сраная, – поправляет его кто-то из глубины барака.

– Правильно, нахер, и так можно!..

Вообще-то Сашка был большой весельчак и заводила в долагерной жизни, но история с «Героем», арестом, лишением звания и депортацией в Сибирь сильно испортила ему характер. Его веселье перепрело в язвительность, его бодрость – в злое нетерпение выйти из лагеря и доказать свою невиновность, вернуть свою звезду «Героя», а вместе с ней – и честь свою офицерскую обрести назад, и русско-немецкое достоинство свое. «Я им докажу, гадам», – клялся он. «Ты им, конечно, все докажешь, Нахер», – соглашались граждане зеки, слегка усмехаясь.

Сашка Наггер-Нахер был летчик-истребитель от Бога и заслужил «Героя» в честном бою, в котором сбил фашистского «Юнкерса» и двух сопровождающих его «мессершмитов». Причем в бешеной схватке был подбит сам, но сумел «доковылять до дома», – как он выразился. Комполка лично был в том бою, все видел лично, тоже вернулся в лохмотьях, и тут же представил Наггера к «Герою». И вдруг однажды, не успели еще толком звезду «обмыть», вызывают Наггера в штаб, и видит Александр, что два особиста собачатся там со злым, как собака, командиром полка по его, Александра поводу. Тут же и к Наггеру приступили: «Почему утаил, что немец, почему Партию обманул?». И старую анкету перед ним бац на стол, где в графу национальность Наггер внес когда-то «русский немец». Плакала, что ли, штабная крыса какая-нибудь над анкетой этой или просто соплю уронила, но только слово «немец» в строке расплзлось от капли, хотя и вполне читалось еще, если знать, что написано. Однако, особисты не к слову «немец», а к слову «русский» придрались. «Ты не русский оказался! Ты оказался немец. Все немцы по закону должны быть депортированы! Ты Родину обманул!». Наггер давай орать на них: «Я с Поволжья, мать вашу, а это – Россия, там деды моих родителей родились, потому я и написал не просто «немец», а «русский немец». А особисты в ответ: «Врешь, гад, это ты следы так заметал, слово «немец» размыл, чтоб не читалось! Нет такой национальности – «русский немец»! Есть или «русский», или «немец»! «Сдай оружие! Ты арестован!». Сашка им: «Сволочи вы! Я фашистов сбиваю каждый день! Я – Герой Советского Союза». А один из особистов – хватить его за звездочку: «Снимай, гад! Ты уже не герой больше, ты – враг теперь!». Ну, Александр пистолет выхватил в бешенстве – и давай палить у них над головами: «Пристрелю, сволочи!»... Тут вообще Содом и Гоморра до потолка полкового блиндажа. Сам комполка Федоров на Сашку с объятиями кинулся, чтобы он особистов не пристрелил в запале. Но, однако, Сашке и этого подвига хватило на высшую меру. Ну-ка – нападение на представителей отряда СМЕРШ при исполнении. Комполка – золотой человек, настоящий боевой офицер – до командующего фронтом дошел, чтобы Наггера, своего лучшего аса отстоять, от смерти спасти. До того докричался полковник, что сам чуть в штрафбат не захрохотал, но летчика своего спас. Правда, только от смерти, уберечь от статьи и лагерей оказался бессилён. Даже генерал из штаба фронта ничего поделать не смог. Наггер-то не отказывался, что он – немец. А немец должен служить в трудармии. Даже, если он летчик. Вот и пусть летает на топоре верхом... И сорвали с лихого Сашки Наггера погоны и звезду «Героя», и оформили ему путевку в лагерь за городом «Свободный», и стал он после долгих лагерных приключений лесорубом и звеньевым в бригаде у Буглаева.

Вот к этому геройскому звену и прикомандировали на трудовое воспитание бластного по кличке Болт. Этот хренов Болт был тяжелый случай. Болт в уголовном «обществе» состоял в «авторитетах» и работать поэтому отказывался наотрез. В лес он ходил только потому, что по последнему сроку ему оставалось сидеть меньше года, а Горецкий пообещал уклонистам от леса и филонам еще пятак довеском. Болт подчинился, скрипя зубами. Но в лесу он сразу предупредил Наггера: «Жить хочешь, из лагеря выйти хочешь? Тогда отвали от меня и даже не смотри в мою сторону – пахать не буду». Наггер, которому единственной целью жизни втемяшилось вернуть свою звезду «Героя», решил не рисковать и оставил Болта в покое. Проблема была только одна: дневной план Наггеру с Аугустом теперь нужно было гнать фактически за четверых, потому что Шульцу в последние дни было совсем плохо. То понос у него открывался розовый, то рвало его до посинения. И по лесу он ходил, как пьяный, качался и падал. Пора было его в доходяги списывать и в санблок определять, но Шульц, не желая выпасть из бригады Буглаева, упорно продолжал тащиться в лес вместе со всеми и кое-как «участвовать», на обрубке сучьев, в основном.

А Болт сидел на пеньке, покуривал. Уже на пятый день такого сотрудничества Аугусту с Наггером стало невмоготу. Они не справлялись вдвоем, хотя уже бегом работали. Работа была такая: они делали подпил или подруб – в зависимости от толщины ствола – со стороны направления валки дерева – формировали «ломоть», а потом пилили дерево лучковой пилой в плоскости верхней кромки подпила с другой стороны ствола. Иной раз надо было подстраховать направление шестом или слегой – тонким, подручным стволиком с рогатиной, которой третий вальщик упирал в ствол и давил в нужную сторону. Все это можно было сделать и вдвоем, конечно, но тогда на это уходило в два раза больше времени, и дневной план начинал гореть синим огнем.

Звену как раз попалась делянка с деревьями, «глядящими» в неправильную сторону, и вальщикам требовалось думать о том, как валить, чтобы удобно было обрубать, кряжевать, трелевать. Пилу при подходе к середине ствола могло поэтому зажать, и обязательно требовался один на слеге. Шульц, зеленый лицом, уже опять блевал в сторонку, и Наггер крикнул Болту: «Ваше величество, не побрезгуй, надави на слегу, а то пилу зажмет сейчас». «А пусть вам хоть яйца зажмет, мне-то чего?» – весело огрызнулся рецидивист, – вон дохляк проблюется шас, да и вырвет вам дерево с корнем, ага...». От былого истребителя в характере Наггера еще оставалось немного вспыльчивости. Сашка бросил пилу и пошел к пеньку, на котором сидел Болт:

– А ну, иди к слеге, сучара блатная...

– Что? Все уже? Уже и жить расхотел? Так быстро? – удивился Болт, нагло скалясь, – иди пили дальше, тля поганая. На первый раз – я ничего не слышал. Я сегодня добрый. У меня сегодня день рождения, га-га...

– Курт, иди-ка за бригадиром, объяви ему ЧеПе: уголовный от работы косит, на пятерик направляется. Пускай его к Горецкому ведут. Прямо сейчас.

Шульц послушался Наггера и побрел в сторону тракторного шума, там уже таскали хлысты, и Буглаев был там.

– Слышь, легун, ладно, замetano. Ради моего дня рождения. Подсоблю. Че делать-то? Куда давить? Покажь, – Болт слез с пня и вразвалочку двинулся вслед за Наггером, по дороге подобрав с земли топор. Сашка оглянулся, сказал: «Топор не нужен, руками, весом давить будешь». Но Болт топор не бросил. Подошли к слеге. Наггер поднял шест, установил, упер в ствол, приказал Болту: «Вот так дави, всем телом». Вернулся к пиле. Они с Аугустом стали пилить дальше. «Дави сильнее, а то на тебя же и грохнетя», – пригрозил Сашка, и Болт надавил сильнее, усмехаясь: «а как же с твоим послем быть, который за «пятериком» пошел для меня?». – «Будешь работать – все простим. Дави давай!». Пропил начал шириться, крона зашевелилась, двинулась, пошла, затрещала древесина, Аугуст с Наггером отскочили в сторону, и дерево повалилось в нужную сторону, взметая короткий вихрь лесного праха и обнажая неожиданно яркий клочок неба.

– Бабах, – сказал Болт.

Дальше было так, Аугуст все видел четко. Наггер пошел к слеге, чтобы забрать ее, занес ногу, чтобы перешагнуть через ствол, и в этот момент Болт, стоявший рядом, ударил его обухом топора по ноге выше колена. Сашка завалился набок, закричал, держась за ногу, а Болт стоял рядом с ним и скалился во всю пасть: «Ай-яй-яй: несчастный случай на производстве! Ай-яй-яй – какая невезуха на оба уха». После этого Болт подошел вплотную к Аугусту и уже без улыбки, сведя глаза в щелочки, сказал: «Запомни, немчик: слега упала, по ноге ударила пилота, сшибла мессершмита, а заключенный Болтяков первым бросился на помощь, хотел даже искусственное дыхание делать... Ты все понял? Запомни наизусть, сука гитлеровская, а то до утра не доживешь. Зуб даю...». Аугуст оттолкнул его и бросился к стонущему звеньевому. Наггер был бледен, как полотно, весь в белом поту: «Ногу мне сломал, падала гнилая, кость шевелится...». Аугуст схватил топор, побежал вырубать ветки для лубка: «Герпи, Саша, не шевелись: сейчас закрепим, бригадир скоро будет. Не шевелись, я сейчас...» Между тем Болт уже снова восседал на своем пеньке и криво ухмылялся: «Поставь ему клизьму, ганц! Очень помогает от этой болезни...». При этом уголовник постоянно озирался в сторону тракторного шума и сплевывал, очко у него все-таки поигрывало на всякий случай...

Минут через десять появился Буглаев в сопровождении Шульца.

– Что тут?

– Несчастный случай, шеф, – нагло доложил блатной, хотя спрашивали не его. Бригадир подошел к лежащему Наггеру: «Что случилось, Саша?». Тот отвел глаза: «Слега упала... неудачно... не увернулся...». Буглаев повернулся к Аугусту: «Так?». Аугуст посмотрел на уголовника. Болт ухмылялся. У Аугуста потемнело в глазах.

– Этот. Обухом топора. Я все видел. Нам обоим пригрозил, что ночь не переживем, если правду скажем.

– Брешет, сука. Ничем не докажете. Ты и сам не вечный, блядь, – завизжал Болт бригадире, – а ты, ссука, – повернулся он к Аугусту, – ты можешь себе уже сейчас яму копать. Прямо тут. Вы мне пятерик? – ладно! А я вам – вечную память от имени блох и вошей... Век свободы не видать! Ссуки!

– Не кипятись, Болт, – спокойно сказал Буглаев, – никто тебя еще не сдал, чего орешь зря?

Несчастный случай – так несчастный. Мой вопрос: кто теперь норму по вашему звену делать будет? Меня только норма колышет, все остальное мне – по фиг...

Аугусту было странно такое слышать от бригадира, но Аугуст видел, что Болт заметно успокоился.

– Меня не скребет – кто вам норму делать будет, – буркнул он, – для этого ты тут голова, а не я.

– Ладно, хрен с тобой, не хочешь – не работай. Только вот что, Болт, мы все забыли, но и ты тоже все забыл. Ребят моих не трогать. Идет?

– Подумаю и решу.

– Ну и ладушки. Теперь с тобой, звеньевой... Август, добавь-ка ему еще одну жердину, с нижней стороны... на, возьми мой ремень... Так, Шульц, тебе повторное курьерское поручение: иди к тракторам, скажи... – Буглаев взял Шульца за рукав и повел в сторону, диктуя дальнейшие инструкции, и Август видел, как Курт удивленно вскинул голову на бригадира, но тот лишь подтолкнул его в спину, иди давай.

– Ну, чего стоишь, Бауэр, пока наш раненый отдыхает, пошли с тобой валить дальше, у нормы перекуров не бывает. Бери инструмент... Давай-ка вон ту свалим для начала... как раз на открытое место упадет... удобно...

И снова удивился Август, дерево, которое выбрал Буглаев, было совершенно неправильным для валки. Оно упало бы крест-накрест на другие и затруднило этим разделку и трелевку. Но Август был уже достаточно долго в лагере, он промолчал. Болт вообще ничего не соображал в лесоповале, поэтому даже не насторожился, когда Август с пилой и топором, а вслед за ним Буглаев с ломиком и колуном пошли к следующему дереву – как раз мимо пенька, на котором сидел блатной.

Август уже миновал уголовника, когда услышал вдруг короткий, хрясткий, смачный шлепок позади. Он оглянулся в тот момент, когда Болт заваливался с пенька, а Буглаев опускал руку с ломиком. Бригадир увидел испуганные глаза Августа:

– И что за день сегодня, – спокойно посетовал Буглаев, – второй несчастный случай подряд! Давай-ка мы его к сосне оттащим, что вы спилили только что...

– А, может, он еще?...

– Нет, ты что? шея переломана... такой удар... Это ж надо, прямо под сосну угодил всеми четырьмя лапами! Говорили ему: «Работай, не бегай кругами, как пес... Как собака и сдох...», – такова была последняя эпитафия уголовнику по кличке Болт, отдавшему свою жизнь за советскую родину в беспощадной борьбе с немцами.

Потом прибыли два солдата конвоя, им было доложено про несчастный случай, причем они узнали от Шульца, что пострадали **двое**. Вслед приполз трактор, нацепил хлыстов, поверх которых кое-как соорудили платформу для транспортировки раненого Наггера и мертвого Болта. Жертв несчастного случая тут же отправили в сопровождении одного из конвоиров в лагерь. А работа пошла дальше. До конца дня Буглаев трудился в паре с Августом, а Шульц кое-как давил на слегу.

Со стороны блатных последствий не было, и Александр Наггер благополучно отлежал свое в санблоке. А потом к нему спустилось с авиационных небес чудо: возможно, что одно из его бесконечных писем «наверх» дошло по назначению. Сашку Наггера вызвали в Москву, в распоряжение летной части. Подходила пора брать Берлин, тыловая «оборонка», для которой зеки постоянно собирали деньги, наклепала новых самолетов, а подготовка летчиков не успевала за заводскими конвейерами. Летчики становились на вес золота, в отличие от лесорубов, которые стоили дешевле древесины. А Наггер все-таки был летчиком и Партия это помнила. Партия вообще никогда ничего не забывает...

Наггер едва успел попрощаться – так быстро все произошло. Утром, еще до развода, трудармейца Наггера, уже вернувшегося в бригаду из санчасти, вызвали в контору, и оттуда он вышел... в летной форме и с совершенно растерянной мордой! Пока еще без погон и наград, правда. «Бегом, лейтенант!» – крикнул ему приезжий офицер со стороны лагерных ворот, ведущих на свободу. И Наггер не сразу понял, что это к нему относится.

– Саня, беги пока они не передумали, – крикнул Буглаев из шеренги хриплым голосом. Наггер кинулся к нему, они обнялись коротко. Охрана не возражала. Глаза у Наггера были сумасшедшие и бестолковые одновременно. Август тоже помахал ему из строя, но тот, кажется, и не заметил даже.

– Скорей! – торопил офицер у ворот.

– Лети на Берлин, Нахер, – толкнул Буглаев пилота, и тот побежал.

– И полечу, нахер, – завопил он уже от ворот, и все засмеялись, включая вохру.

Больше Августа жизнь с Сашей Наггером не сводила. Долетел ли он до Берлина как мечтал? Вернул ли свою звезду «Героя» или новых звезд себе навоевал?

Лишь однажды, много-много лет спустя, в поезде, в случайном разговоре случайных попутчиков, услышал Август, что имеется где-то в средней Азии летчик по фамилии Нагер, летает на «кукурузнике» и саранчу травит. Но никаких подробностей Августу выспросить у пассажиров не удалось. «Не Герой ли Советского Союза?» – хотел он знать. Но попутчики лишь удивились: «Это за саранчу-то?». Они и возраста летчика назвать не могли, просто в газете про него читали: мол, немец по национальности с фамилией Нагер кучу саранчи переморил. И фото возле кукурузника – то ли старый, то ли молодой – на фото не разобрать. «Вряд ли Сашка, – подумал Август, – тому, если жив, за шестьдесят уже быть должно. А, может, это сын его летает или внук – следующие поколения «русского немца», авиатора Александра Наггера, Героя Советского Союза. Что ж, может быть так оно и есть. Ведь в стране, для которой нет ничего невозможного – все возможно!

И вот шел уже сорок пятый год, и ждать конца войны становилось с каждым днем все невыносимей. Хотя житья весной сорок пятого зекам стало заметно легче – почти вольно им стало

житься в сравнении с былыми временами. Лагерь трудармии все еще оставался за колючей проволокой, разумеется, за оградой, при вышках и собаках, но уже действовал в режиме десятичасового рабочего дня и с тяжелыми, но не убийственными нормами выработки. При этом отдельным стахановцам даже разрешили вызвать семьи и поселиться снаружи лагеря, в деревне. Главное – быть утром на разводе, вместе с бригадой. «Жить стало легче, жить стало веселей!» – произнес по этому поводу И.В.Сталин. Действительно, помереть в таких условиях было бы особенно обидно. Очень хотелось пережить бессмертного Сталина и посмотреть, что будет потом, после него.

Опять же – почта. Теперь, в конце войны она приходила еженедельно и самому можно было писать без ограничения. Только вопрос – кому, куда? Аугуст не знал. Поэтому в поисках матери и сестры он начал писать запросы наугад, в Сыкбулак, в Чарск. Все безответно. Надежда и разочарование задавали ритм настроению в такт почте, приходящей по субботам.

А тут еще слух пошел, что скоро начнут трудармию расформировывать. Жизнь в лагере стала совершенно невыносимой на этом сквозняке свободы, потянувшим с воли. Эта тема – свобода! – создала постоянную, напряженную атмосферу в бараках. Как ни странно – атмосферу весьма агрессивную. Каждый боялся не дожить до свободы, а лагерный опыт подсказывал, что даже при самом удачном раскладе до воли доживут не все. Возникла конкуренция на выживание, с упорной борьбой за каждый дополнительный шанс. Даже мирный, немногословный Аугуст подрался однажды по ничтожному поводу или вообще даже безо всякого повода, просто ответив на чей-то грубый толчок не менее остервенелым тычком кулака. Нервы были у всех на пределе, в том числе и у бригадира Буглаева, который ни с того ни с сего вдруг взвизывался – особенно в адрес учетчиков, которых он теперь постоянно обвинял в занижении кубов его бригаде в пользу других бригад. Наверно, в его обвинениях была правда, потому что такого рода дела процветали в лагере всегда и дирижировались самим начальником лагеря, но почему Буглаев «сорвался с цепи» именно сейчас? Объяснение было одно – нервы. Подстрекаемый этими раздерганными нервами, Буглаев отхайдакал в конце концов одного из учетчиков до того, что тот попал в санитарный барак, а сам Буглаев очутился бы с гарантией в карцерной яме, если бы не был столь ценным бригадиром на фоне сильно поредевших рядов лесорубов и хронического отсутствия пополнения.

Все знали, что Победа – уже рядом, но когда однажды в мае на лесную делянку, постоянно спотыкаясь и падая на скользкой дороге, прибежал вдоль насыпи из лагеря один из охранников, без фуражки и без оружия, и закричал: «Победа! Победа!», это застало зеков врасплох. Они побросали топоры и пилы и окружили охранника, как будто ждали от него дальнейших разъяснений. Но у охранника не было дальнейших разъяснений. «Гитлер застрелился», – добавил он для ясности.

– А Сталин? – спросил кто-то, – что Сталин говорит?

– Не знаю, – сказал охранник, – всем приказано в лагерь, кончай работу..., – и побежал обратно.

Кто-то запел частушку: «...Цветет в тундре алыча для Лаврентий Палыча...», но сбился на крик «А-а-а!...», повернулся и побежал в лес. Кто-то обхватил руками медноствольную сосну, которую только что собирался спилить. Несколько зеков молча обнялись. Аугуст просто сел на ближайший липкий пенек и обхватил голову руками, проваливаясь в пустоту: Победа! Что дальше? Отпустят? Свобода? И что? И куда?...

В лагере произошел в тот день митинг с криками «Ура!» после каждого выступления. А выступлений было много, начиная с начальника лагеря полковника Горецкого и вниз по званиям – вплоть до лейтенанта Чехурды, который крикнул: «Мы победили! Немцы разбиты наголову!». Каждый из выступавших пытался доходчиво объяснить зекам, ценой каких невероятных лишений добыта наша Победа, и зеки каждый раз согласно кричали «Ура» и нюхали воздух: не готовится ли праздничный обед по этому поводу. Но в лагере воняло, как обычно: потом, опилками, парашей, собаками и потайным махорочным дымом пополам с запоздалыми гороховыми выхлопами тут и там. Под конец митинга Аграрий провозгласил, что будет праздничный ужин, и громогласное, тройное «Ур-ра-а-а» в честь великой Победы спугнуло птиц в поредевшей вокруг тайге.

В тот день никто больше не работал, и все оставались на зоне, поэтому охрана была мобилизована в полном составе – на всякий пожарный случай. Вертухаи на вышках стояли по двое. Но все оставалось в рамках порядка. Зеки понаивней собирались кучками и вели перевозбужденные беседы о будущем. Зеки поопытней стирали портянки или заваливались на нары спать, восстанавливать силы, пользуясь нежданно выпавшим праздником.

До середины лета еще работал Аугуст на победу, которая уже свершилась где-то, а он все валил, валил и валил лес, пока однажды утром, в понедельник 30-го июля на перекличку не вышел лично Аграрий и не объявил:

– Запомните это солнечное утро, долбогребы вы лесные! Потому что оно для всех вас – последнее!

Жуткая тишина повисла над лагерем. Казалось, вездесущие навозные мухи – и те перестали жужжать на лету, отключили моторы и перешли на режим планирования. Начальник сказал непонятное, это не укладывалось ни в чьей башке...

«Почему утро это должно стать последним для всех? За что? Ведь мы победили! Враг разбит! Только недавно еще героями всех обзывал... А сегодня на тебе... Всех, что ли? Всех разом? Прямо тут, в лагере?», – переглядывались зеки...

– Так что объявляю официально, – продолжал полковник, выждав смачную паузу, чтобы в полной мере насладиться смертельной паникой в глазах своих рабов – своих бывших рабов..., – так что наш с вами лагерь, граждане трудармейцы, с завтрашнего дня расформирован. А сегодня государство наше распорядилось, так и быть, покормить вас на халяву, а завтра всё, завтра каши не будет! И долой с моей шеи, и чтоб духу вашего тут больше не было, – глаза у Агрария засверкали, как у сумасшедшего, и он стал сморкаться, но тут же вздернул голову и завопил:

– Эй, там... что за кипеж, первый барак? Вас все это не касается, граждане уголовные. Для вас будет отдельное распределение, вы к трудармии не относитесь..., – в этом месте блатные оглушительно загалдели, засвистели и заматерились, так что охране пришлось дать пару автоматных очередей над их головами...

– ...Фашистов отпускаете, а честным ворами дальше сидеть? – истошно вопил кто-то из колонны уголовников, и слышно было, как он рвет какую-то ткань, – Ну, суки, нну, сссуки-и-и-и!!!...

– Заткните там хлебало урке своему, а то щас всю малину вашу в яму спущу, – рявкнул Аграрий в сторону уголовных и снова повернулся лицом к трудармейцам:

– Так что ваша героическая работа тут закончилась, с чем я вас и поздравляю от имени руководства лагеря. Бригадирам сдать инвентарь, а после, поотрядно, всем в контору, за справками и за расчетом. Вопросы есть?

– Какие справки? – спросили из первой шеренги.

– Для трудовых книжек. Чтоб стаж вписать. И деньги заработанные получите там же, в конторе... – В толпе блатных снова поднялся дикий вой.

– Какие еще деньги? – перекрикивая шум, спросил все тот же трудармеец.

– Твой папа дятел с красной головкой, что ли? – закричал на него Аграрий, – не сказал тебе, отправляя в трудармию, что на белом свете деньги бывают? За выполненные работы – «какие?»... Советскими ассигнациями госзнака! В соответствии с законом СССР о труде и на основании ваших закрытых нарядов... Да пошел ты в жопин домик со своими дурацкими вопросами, остолоп! Остальным всем всё понятно?

– А нас куда?

– Куда хотите, хоть на Марс. Кроме Москвы, Ленинграда, Киева и Поволжья. Проездные документы будут выдаваться сегодня до упора и завтра с восьми утра. Только жрать вам завтра тут уже не обломится, дармоеды. Станете все с завтрашнего дня богатеями и будете дальше на свои питаться, в мягких вагонах ездить... Слушай мою последнюю команду!.. Р-р-разойдись!..

Впервые за три года построений колонны не торопились распаться по команде, впервые на начальство смотрели из шеренг не хмурые, мрачные рожи, но потрясенные, просветленные лица. Они смотрели и неуверенно улыбались.

Затем самые оперативные рванули к конторе – очередь занимать. Очередь на свободу!

У конторы в две шеренги стояли вооруженные солдаты, и несколько овчарок нервно зевали и повизгивали, не понимая почему это им вдруг стали запрещать голос. Что вдруг изменилось?

Тревожно было не только собакам – непривычно было и трудармейцам: то ли уже свободным, то ли все еще подконвойным...

– Так то ж почетный каграул, а не вохра, – пошутил Абрам Троцкер, и все вокруг засмеялись, в том числе солдаты охраны. Только овчарки испугались и прижались к ногам конвоиров.

Из конторы вышел первый рассчитанный трудармеец (кажется, это был «человек-гора» Вильгельм Закк), растерянно и испуганно, как опасную змею зажимая в грубом и огромном, дубовом кулаке пучок бумажных денег и держа в другой руке справку с печатью, удостоверяющей, что такой-то и такой-то демобилизован такого-то года такого-то числа... стаж... должность... заключенный?... статья?... нет, этого нет. Есть «боец трудовой армии... демобилизован в связи...». Этот здоровенный Закк сел на нижнюю ступеньку крыльца и произнес потрясенным и жалобным голосом:

– Eб twoju Matj!!!...

А перед ним, как перед покойником, стояла молчаливая толпа солдат и трудармейцев, и овчарки жались к ногам своих хозяев и повизгивали с интонациями, в точности повторяющими только что услышанное из уст этого странного врага, на которого почему-то нельзя больше гавкать...

Так закончилась Великая отечественная война для Аугуста Бауэра. Так закончилась его проклятая трудармия... «Мы победили! Немцы разбиты», с этими словами Аугусту вручали демобилизационные документы.